

*А.А. Кауфман*

## В Арало-Каспийской степи (1903)

### В царстве пшеницы

Семь часов утра, и уже нестерпимо жарко... Перевозный пароход — монопольное достояние какого-то покровительствуемого судьбой подрядчика, поддерживающий сообщение между Саратовом и Покровскою слободой, в течение двадцати минут делает тщетные попытки отвалить от пристани: Волга за ночь еще обмелела, и пароход почти вплотную сидит на песчаной мели. С десяток рабочих из всех сил отталкиваются шестами; слышны крики: „стоит“, „нейдет...“; капитан парохода командует то „самый малый вперед“, то „самый малый назад“... Наконец, пароход медленно сползает с места, медленно огибает огромную песчаную отмель, обещающую в близком будущем окончательно отрезать Саратов от Волги, и, волоча за собою две огромные баржи с подводами и „черным народом“, направляется к Покровской слободе.

На пароходе — только и разговоров, что о прелестях переправы: как городская управа, заботясь лишь о городском доходе, сдала переправу в бесконтрольное распоряжение „чумазому“ предпринимателю; как гурты скота, по целым дням, стоят не кормленные на покровской стороне, ожидая своей очереди; как целыми же днями стоят воза с пшеницей и другою кладью, — и это в то время, когда Покровская слобода живет, в сущности, одною жизнью с Саратовом, когда торговые и всякие другие интересы требуют постоянного сообщения между Саратовом и слободой.

Целый городок многоэтажных хлебных амбаров<sup>1</sup> — их до двухсот, в восьми отдельных кварталах, вместимостью, каждый амбар, от 60,000 до 200,000 пудов. По мере приближения парохода, перед глазами открывается и слобода — большой

---

<sup>1</sup> Эти амбары сгорели через три дня после моего проезда через слободу.

город с 30,000 жителей, почему-то продолжающий именоваться „слободой", с волостным правлением и таковым же старшиною. По слободе разбросано шесть или семь церквей, на площади и на центральных улицах—каменные дома городского типа, вывески отделений всех петербургских и московских банков, имеющих дела в Поволжье, фотографии, парикмахерские; на одной из дальних улиц, где-то на огородах, большой деревянный цирк, на площади — день был базарный — бесконечные ряды телег и фур, то настоящих колониетских, то упрощенного полуколониетского типа; на многих уже погружены то плуг, то жнейка, и такие же плуги и жнейки выставлены перед добрым десятком магазинов.

— Не поверите, как бойко пошли машины, — говорит мой спутник-агроном, имеющий какое-то отношение не то к земству, не то к заведыванию казенными землями Новоузенского уезда. — Пять лет только, как уездное земство открыло первый склад,— а теперь один Петров — вот посмотрите, какой склад вывел; продает в год на полмиллиона, да земство на двести тысяч, да другие торговцы... не меньше чем на миллион в год раскупается по уезду.

Извозчик завозит нас к знакомцу — полуинтеллигентному местному обывателю, к которому должны привести нам лошадей. Хозяин уходит к ямщику, хозяйка хлопочет около самовара.

— Бойкое у вас место,—говорю я ей.

— Не говорите... И народ же здесь живет! По началу я днем на улицу не выходила, боялась; только теперь попривыкла. На Пасхе сколько народу с пьяных глаз перерезали! Около пристаней ютятся, да около лесопилок; летом, опять же, косцы находят, — не дай Бог!..

— А много народу на полевые работы приходит? — спрашиваю я подошедшего между тем хозяина.

— Сейчас третья часть против прежнего. Кому прежде триста человек требовалось, теперь сотней обходится, — все машины пошли.

— А сотню все-таки нужно? Куда столько при машинах?

— Да как же — пшеницу возить, жать тоже при машинах, на косилках работать. Ведь он всю работу норовит разом кончить... а потом еще и то: жнет он машиной, а на углах переменные люди стоят—снопы сбрасывать: один круг делает, на его место другой на машину становится, — одному не под силу.

— А откуда рабочие?

— Нонешний год, кажись, все больше пензенские.

— И на амбарах они же работают?

— Нет, на амбарах работа круглый год, зимой еще тяжелее против лета: зимой подвозят пшеницу — с возов в амбары ссыпают, а летом — из амбаров на баржи грузят. Ну, сюда уж со всей округи собираются, лето и зиму работают; все, у кого ни кола, ни двора, — кто только водку пьет. — Нельзя без водки-то на этой работе, больно тяжело; видали амбары? извольте девятипудовый куль на третий этаж тащить... Вот я в Астрахани бывал, там все больше персюки на этой работе стоят; здоровый народ, да и безответный; всякий его бьет, всякий норовит обчесть, а ему куда деваться? Языка не знает, паспорта у него нет, он и до начальства дойти не может. Очень уж только жить здесь дорого, — внезапно переменял разговор мой собеседник: вот я — какое мое жалованьишко, а дом себе построил; нанимать квартиру не по средствам.

— А рабочий народ как же помещается?

— Да по землянкам ютятся. Которые на лесопилках работают, тем каждый день полагается по два горбыля на отопление; они из них и складывают себе хибарки; на зиму привалят земли да снега,— вот и тепло.

— А лесопилок здесь много?

— Много; на весь Новоузенский уезд лес поставляют.

Однако подали лошадей, едем.

Гладкая, черноземная, совершенно безлесная степь, изредка изрезанная неглубокими балками. Сначала обширный, дочиста выбитый Покровский выгон, потом— море еще зеленой, едва начинающей белеть усатой пшеницы, среди которого, кое-где, ярко желтеют небольшие пятнышки ржи.

— Выгон покровские распахали, говорит ямщик: разбили на участки да посадили с торгов; по 40 да по 50-ти рублей брали

за два хлеба, а земле вся цена сто рублей, да и то только в эти года такая цена стала. Раньше десятину свободно за 50 рублей можно было купить.

Едем несколько верст этим сплошным морем пшеницы; делянки обширные, посевы чистые, без сора, хлеб густой, высокий; арендаторы, видно, состоятельные, крепкие хозяева — да иначе и быть не может: слабому откуда взять пятьдесят рублей за десятину, да, главное, чем ее вспахать?..

Пересекаем линию хуторов, расположившихся вдоль границы бывшего выгона. Поодаль — вторая такая же линия, кое-где — отдельные, разбросанные хутора. Одни из них — жалкие землянки, едва возвышающиеся над уровнем земли; при них ни хлева, ни амбара; другие — саманные или глинобитные избы с кой-какими навесами для скота, третьи — бревенчатые дома, с обширными хлевами и амбарами; около некоторых — пруды, при них — небольшие группы деревьев, радующие глаз в этой уныло-безлесной степи.

Между первую и второю линией хуторов — душевые пашни покровских слобожан. Вместо однообразного моря пшеницы — пестрая смена то крупных квадратов и прямоугольников, то более мелких полос; пшеница-белотурка, главное богатство и гордость Новоузенского края, чередуется то с мягкой пшеницей — „русаком" или полтавкой, то с овсом, ячменем, картофелем, подсолнухом; чистые от сора, сильные и рослые посевы богатых мужиков теряются среди массы полос, густо заросших сорною травой, с редким, низкорослым хлебом, сильно прихваченным засухой. Нигде ни залежи, ни пара. Здесь — царство пестрополя, высасывающего из земли все, что земля может дать, и доводящего ее если не до полного истощения, — о *настоящем* истощении здесь еще далеко думать! — то во всяком случае до такого состояния, когда она перестает кормить страдающего и страдающего над нею пахаря.

— Вы посмотрите, во что они обратили землю! — восклицает мой товарищ по экскурсии, которого агрономическое сердце не может вынести вида такого, действительно не агрономического, хозяйства.

Скоро однако картина вновь меняется, и мы опять въезжаем в море пшеницы. Обширные поля, где по несколько десятков, где и по несколько сотен десятин под одну межу, засеянные сплошь то белотуркой, то „русаком“, чередуются с еще гораздо более обширными сплошными залежами, то поросшими высоким бурьяном, то усеянными небольшими копешками сероватого бурьянистого сена, то лишенными всякой растительности, кроме сероватой, мелкой, сильно пахучей полыни. Поодаль от дороги то одиночные хутора, то группы хуторов, с двухэтажными хлебными амбарами и ветряными мельницами, с обширными хлевами для скота, с конными приводами, чтобы вытаскивать воду из глубоких колодцев. Пустынность степи нарушается то парюю работающих жнеек или сенокосилок, то длинными процессиями плугов — четыре, шесть, десять плугов подряд, борозда в борозду, вздирают уже отдохнувшую залежь. Где пашут или жнут — там, где-нибудь в сторонке, стоят какие-то домики на колесах; это перевозные балаганы, где рабочие укрываются от дождя, складывают одежду и провизию, и где имеется запас необходимых инструментов для починки жнеек и плугов.

Это, оказывается, мы въехали в район оброчных статей — казенных земель, сдаваемых в аренду. В других местах, где население гуще и где уже резко ощущается „утеснение“, казна сдает оброчные статьи, по преимуществу, более или менее малоземельным крестьянским обществам. В Новоузенском уезде малоземелья еще нет, и казенные земли, которых здесь более полумиллиона десятин, сдаются главным образом крупным посевищикам, снимающим, некоторые, по много тысяч десятин. На статьях обязательное по контрактам залежное хозяйство: засеивается два или три поля, а шесть или семь полей отдыхают, служа лишь сенокосом или выгоном скоту.

— Посмотрите, — говорит мой спутник, — земля та же, а какой хлеб! Говорят вот, будто казенные земли надо отдать переселенцам. А какой резон? Ведь эти арендаторы — они-то и производят ту твердую высокую пшеницу, которою славится Самарская губерния; у них и урожаи чуть не вдвое выше, чем на надельных землях! И не думайте, что дело только в их богатстве;

нет, у них такой огромный опыт, они так тонко изучили условия производства пшеницы, что нам, агрономам, у них учиться приходится. А отдайте землю переселенцам, и через пять лет будет тоже, что на надельных землях. Отдать землю переселенцам — это значит не увеличить, а уменьшить производительность края.

Я, конечно, возражаю, и между нами завязывается длинный спор — все тот же старый спор: к чему стремиться — к максимуму ли производства, или к равномерности распределения?.. Как водится, каждый из нас и после спора остается при своем мнении. Но мне кажется, что хозяйство крупных посевищиков не может слишком радовать и с чисто производственной точки зрения: их процветание основано на искусственном поддержании залежного хозяйства, которое и в Новоузенских степях уже отжило свой век и должно уступить место более интенсивному, может быть трехпольному, а скорее — травопольному хозяйству.

Вот, однако, на одном из таких арендаторских хуторов, и земская станция. Арендатор, он же содержатель станции, — немец-колонист. Однако обстановка и обитатели дома не производят „немецкого" впечатления. Правда, на стенах чистой комнаты висят, кроме русской иконы, подписанное пастором конфирмационное благословение и несколько немецких благочестивых надписей. Несколько своеобразна и постройка, — от общей большой комнаты отгорожено несколько маленьких каморок-спален. Но меблировка — совсем русская, крестьянская; почти русская и одежда; традиционной немецкой чистоты нет и в помине — комната грязна, не выметена, к чаю подаются грязные стаканы, и в довершение всего посмотреть на презжающих является немецкий мальчик... без штанов.

Идем дальше. Еще несколько верст — сплошное море пшеницы на оброчных статьях, потом — несколько верст надельных земель все той же Покровской слободы, — широко она, матушка, раскинулась; потом — надельные земли нескольких приволжских немецких колоний. И немецкие поля тоже сплошь засеяны пшеницей, но, увы, по обработке и по виду посевов они мало чем отличаются от крестьянских надельных

пашен: те же низкорослые, редкие хлеба, среди них во множестве — выгоревшие плешины; тоже изобилие сорных трав всех видов и наименований. Я и раньше знал, что заволжские колонии — не чета южнорусским: но все же я никак не ожидал увидеть такой печальной картины на колониистских наделах. Для моего товарища-агронома это — привычная картина, и он даже изумился, когда я напомнил ему о высокой культуре немецких колоний Новороссии.

— Здесь — ничего похожего... Немцы здешние ничем не отличаются от хохлов: они и не богаче, и хозяйство ведут также плохо, и в умственном отношении ничуть не выше; да и репутация у них плоховата: через некоторые колонии, говорят, ночью небезопасно проезжать.

Вот однако и ближайшая цель нашей сегодняшней поездки — менонитские „колонки“, этот уголок Европы среди Новоузенских степей.

Таких колонков всего десять — в каждом, средним числом, по двадцати пяти дворов. Но менонитские колонии по виду не имеют ничего общего ни с русскими деревнями, ни даже с немецкими *dorf*-ами. Это длинная—много верст, широкая дорога или улица, вдоль которой стоят отдельные менонитские дворы, каждый впереди своего земельного участка, утопая в зелени небольших садилов и рош. Как и везде, в менонитских колонках есть и богатые, и бедные; наряду с богачами, имеющими на своей земле и на арендованных участках сотни десятин посева и могущими затрачивать тысячные суммы, например, на устройство артезианского колодца и водопровода, — здесь есть и бедняки, имеющие всего по несколько голов скота и по благосостоянию стоящие немногим выше средне-состоятельного русского крестьянина. Богачи живут в обширных каменных хоромах, крытых черепицей, с балконами и верандами; бедняки — в небольших домах, бревенчатых или саманных, с характерными крутыми соломенными крышами. Но у каждого менонита есть сад, и в каждом саду, кроме вязовой роши, есть хоть несколько фруктовых деревьев („В черном пару ведь у них земля под фруктовыми деревьями!“ — с восторгом восклицает мой товарищ-агроном) и несколько гряд огорода; непременно

есть и несколько куртин с цветами, за которыми менониты ухаживают с величайшею любовью и вниманием. И в каждом доме, как бы он ни был мал и прост, — даже в крохотной избушке, где живет на общественном иждивении обедневший дряхлый старичок, — самая строгая чистота и порядок. И как бы ни была проста или, наоборот, роскошна обстановка менонита, вы непременно найдете у него пару ларей или комодов старого голландского фасона, из светлого лакированного дерева, с рядами больших медных гвоздей и с железными наличниками у замка, способными привести в восторг любителя „стильной“ мебели.

Но гордость каждого менонита, это — его конюшни и хлева, под такими же крутыми соломенными крышами, всегда соединенные с жилым домом посредством крытого перехода; устроены эти хлева по всем правилам зоотехнии, с покатыми деревянными полами, с яслями и отдельными стойлами для каждой лошади и для каждой коровы. Гордость менонита — его блещущая чистотой молочная, его сараи для орудий и машин, где у богатого стоят десятки плугов, сотни борон, катки, косилки, жнейки, рядовые сеялки, фургоны; все это частью купленное у „фирм“, частью — сделанное своими же мастерами-менонитами. Гордость менонита — его поля, огромные сплошные „карты“, каждая в несколько десятков десятин, уделанные обработанные так, как будто карта сейчас и идет на конкурс или на выставку сельского хозяйства. И у них, как и у арендаторов казенных земель, урожаи процентов на 40 выше, чем на надельных землях крестьян. Но у них — это результат не залежного хозяйства, связанного с пустованием чуть не трех четвертей культурной площади, а применения сравнительно интенсивной культуры — пятиполья с черным паром, а у многих — с навозным удобрением земли. Хозяйство менонитов, таким образом не представляет собою анахронизма, как хозяйство арендаторов; оно является, наоборот, высокопрогрессивным и как бы намечает путь, по которому, может быть, пойдет сельскохозяйственная культура данного района.

Самарские менониты — потомки голландских эмигрантов, которые оставили родину в одно время с предками нынешних



капских и трансваальских буров и около трехсот лет жили в Восточной Пруссии, в Мариенбургском округе. Между собой они до сих пор говорят, кажется, по-голландски; все хорошо говорят и по-немецки, мужчины свободно, хоть и не слишком правильно, объясняются по-русски. Костюм — не-то немецкий, не-то голландский: мужчины в будни — в кожаных туфлях на босу ногу и в жилетке поверх светло-синей рубашки, с отложным воротником; женщины — в темно-синих ситцевых платьях. В праздник, ехать в церковь, мужчины одевают пальто и пиджаки, женщины — шляпки и накидки, и огромная менонитская улица с едущими друг за другом менонитскими фургонами и пролетками заставляет вас совершенно забыть, что вы находитесь где-то в глубине Новоузенских степей... Со своей дальней родины менониты принесли, очевидно, чистоту и аккуратность, принесли и свою любовь к цветам; и поневоле вспоминаешь о бурах, когда видишь их свободное, полное достоинства обращение.

Получив землю на каких то необыкновенно льготных условиях, менониты разбили ее на 65-тидесятинные „карты“, каждая в виде продолговатого прямоугольника. Никаких правил о неделимости участков у них нет, но фактически участки почти не делятся.

— У нас между детьми нет разницы — рассказывал мне пожилой менонит, носитель одного из столь излюбленных менонитами библейских имен: и сын, и дочь, все получают поровну; все наследство оценивается, и каждый получает по оценке, что захочет. А земля остается у одного из сыновей: кому охота, тот ее берет и рассчитывается с другими.

— А никогда не делят землю?

— Нет, — у кого по многу карт, те, случается, и делят — на брата по целой карте. А у кого одна карта, как же ее разделить? Ведь меньше 60-ти десятин — какое же это будет хозяйство! Жить нельзя будет. Во всех колонках только два раза случилось, что карту поделили.

— А кто земли не получил от отца,—те что?

— А кто как захочет. Кто купит землю, кто заарендует, кто другим делом займется... Я вот для старшего сына казенную

землю снял, — теперь строю ему хутор. А вот, глядите, — мы ехали в это время, в полугородском рессорном экипаже, по границе менонитских земель с наделом села Воскресенского: эти хутора — это все наша молодежь устроилась; кому неохота далеко от своих, те вот по соседству заарендовали у воскресенских землю, и живут.

Нет у менонитов и правил против скупки земель и перехода их в посторонние руки. У моего собеседника — целых шесть „карт“; одна у него — выгон, остальные — полевые смены, в 65 десятин каждая, менонитского пятипольного севооборота.

— А вот в Гансау, — название одного из „колонков“, — там Миллер все 25 карт скупил, а потом все разом продал, екатеринославским хохлам. Ну, это уж Бог знает что за люди: никаких порядков знать не хотят, со всеми судятся, — и сказать нельзя, какие люди!

— Трудно вам, — спрашиваю, — с русскими жить? С немцами, верно, лучше?

— Зачем! Какой русский, — какой немец... Вот на Волге лютеране живут, про них хорошего не скажешь! Через иные колонии ночью и не проедешь, в работники берем с опаской. А с воскресенскими живем как братья: ни споров, ни судов. Вот, у меня в колонке шабер из Воскресенки, Иван Макарыч. Раньше он у своего общества землю снимал, полтинник десятина, а нынче уж эту землю наши менониты по 5-ти рублей держат. А Иван Макарыч у нашего менонита карту купил, да все обзаведение Хорошо мы с ним живем, — человек хороший, настоящий.

— А которые землю продали, — спрашиваю я, — те что?

— В Туркестан ушли, в Аульеатинский уезд; может будете там, пожалуйста, заезжайте в колонки, кланяйтесь от нас, — они вам рады будут. Только и там не всем понравилось; все думали — лучше будет да лучше, а теперь уж некоторые оттуда в Америку поехали.

Славятся менониты по всей округе не только хозяйственностью, но и общественностью и широко развитою взаимопомощью: у них есть и довольно богатая Armenkasse, и общественные производители — быки и жеребцы, и собственное, менонитское, взаимное страхование.

Однако, пора и ехать. На прощанье мы обедаем с радушными хозяевами, которые перед обедом чинно склоняют головы и произносят тихую молитву. Меню обеда—жареная ветчина от собственных беркширов, с картофелем, манная каша с вишневым соком и удивительное молоко; саратовское пиво, а для курящих — варшавские сигары.

Затем едем. Сначала — опять дивно обработанными менонитскими полями с их вытянувшимися на версты сплошными посевами пшеницы, которые, — увы, — в этом году и у менонитов сильно попорчены засухой. Еще сильнее выжжены, конечно, посевы немцев-колонистов, а тем более — посевы на крестьянских надельных землях. Много выжжено, местами, и у арендаторов, — не мало таких полос, где „колос от колоса — не слышно человеческого голоса“, где не разберешь, посеяна ли пшеница или „падалица“ рожь, или где хлеба почти не видно из под густого покрова сорных трав.

— Плохо, — говорит мой спутник-агроном, — и у арендаторов, выходит, кругом по 45-ти пудов не наберется. А на надельных землях — одно горе. Опять ссуд запросят... ведь каждый год кормить приходится; только 1902 год как-то прошел благополучно!..

Вот вам и пшеничное царство!..

**Кауфман А.А. По новым местам. Очерки и путевые заметки.**  
**1901-1903.** — СПб: Издание Товарищества «Общественная польза»,  
1905, с. 179-192.